

Э К С К Л Ю З И В: П О Э З И Я



ЮРИЙ
ЛЕВИТАНСКИЙ



ЖИЗНЬ МОЯ,
КИНЕМАТОГРАФ



Юрий Давыдович Левитанский

Жизнь моя, кинематограф

Серия «Эксклюзив: поэзия»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73520313

Жизнь моя, кинематограф : [сборник] / Юрий Давыдович Левитанский.

АСТ; Москва; 2026

ISBN 978-5-17-167600-1

Аннотация

В данное издание вошли лучшие стихотворения из всех авторских сборников поэта, включая знаменитый «Кинематограф» (1970), принесший автору всесоюзную популярность, книги «Белые стихи» (1991), удостоенной Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также произведения, написанные поэтом в последние годы жизни. В своих удивительно лиричных стихах Юрий Левитанский размышляет о смысле существования и об ответственности перед своим временем, пробует постичь сложный внутренний мир современного человека, пытается запечатлеть каждый прожитый день настоящего, осмыслить прошлое и предугадать будущее.

Содержание

Вступление в книгу	5
Время слепых дождей	8
«Время, бесстрашный художник...»	11
Воспоминанье об оранжевых абажурах	14
«Музыка, свет неближний...»	16
Иронический человек	18
«Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь...»	20
Как показать лето	23
Сон о забытой роли	25
«Собирались наскоро...»	28
«Горящими листьями пахнет в саду...»	29
Время улетающих птиц	31
«Я медленно учился жить...»	34
Квадратный человек	36
Как показать осень	38
Сон о рояле	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Юрий Левитанский

Жизнь моя, кинематограф

Серия «Эксклюзив: поэзия»



© Ю. Д. Левитанский, наследники, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Вступление в книгу

Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.
А потом в стене внезапно загорается окно.
Возникает звук рояля. Начинается кино.

И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной.
Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной!
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса
заставляет меня плакать и смеяться два часа,
быть участником событий, пить, любить,
идти на дно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный
фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!

Он актеру не прощает плохо сыгранную роль —
будь то комик или трагик, будь то шут или король.
О, как трудно, как прекрасно действующим быть
лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом

два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно...
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты
от нехватки ярких красок, от невольной немоты.
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва
выразительностью жестов, заменяющих слова.
И спешат твои актеры, всё бегут они, бегут —
по щекам их белым-белым слезы черные текут.
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно...

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Ты накапливаешь опыт, и в течение этих лет,
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно...

Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего
кино!
А потом придут оттенки, а потом полутона,
то уменьше, та свобода, что лишь зрелости дана.
А потом и эта зрелость тоже станет в некий час
детством, первыми шагами тех, что будут после нас
жить, участвовать в событиях, пить, любить,
идти на дно...

Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак – старый зритель,
я готов

занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед камерой стою,
даже тем, что не играю, я играю роль свою.
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,
как сплетается с другими эта тоненькая нить,
где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,
потому что в этой драме, будь ты шут или король,
дважды роли не играют, только раз играют роль.
И над собственной ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить
хочу.
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать
в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Время слепых дождей

Фрагменты сценария

Вот начало фильма.
Дождь идет.
Человек по улице идет.
На руке – прозрачный дождевик.
Только он его не надевает.
Он идет сквозь дождь не торопясь,
словно дождь его не задевает.
А навстречу женщина идет.
Никогда не видели друг друга.
Вот его глаза.
Ее глаза.
Вот они увидели друг друга.
Летний ливень. Поздняя гроза.
Дождь идет,
но мы не слышим звука.
Лишь во весь экран – одни глаза,
два бездонных,
два бессонных круга,
как живая карта полушарий
этой неустроенной планеты,
и сквозь них,
сквозь дождь,
неторопливо

человек по улице идет,
и навстречу женщина идет,
и они
увидели друг друга.
Я не знаю,
что он ей сказал,
и не знаю,
что она сказала,
но —
они уходят на вокзал.
Вот они под сводами вокзала.
Скорый поезд их везет на юг.
Что же будет дальше?
Будет море.
Будет радость
или будет горе —
это мне неведомо пока.
Место службы,
месячный бюджет,
мненья,
осужденья,
сожаленья,
заявленья
в домоуправленье —
это все не входит в мой сюжет.
А сюжет живет во мне и ждет,
требует развития,
движенья.
Бьюсь над ним

до головокруженья,
но никак не вижу продолженья.
Лишь начало вижу.
Дождь идет.
Человек по улице идет.

«Время, бесстрашный художник...»

Время, бесстрашный художник,
словно на белых страницах,
что-то все пишет и пишет
на человеческих лицах.

Грифелем водит по коже.
Перышком тоненьким – тоже.
Острой иглою гравера.
Точной рукою гримера...

Таинство света и тени.
Стрелы, круги и квадраты.
Ранние наши потери.
Поздние наши утраты.

Черточки нашего скотства.
Пятна родимые страха.
Бремя фамильного сходства
с Богом и с горсточкой праха.

Скаредность наша и щедрость.
Суетность наша и тщетность.
Ханжество или гордыня.
Мужество и добродетель...

Вот человек разрисован
так, что ему уже больно.

Он уже просит:

– Довольно,
видишь, я весь разрисован!

Но его просьбы не слышит
правды взыскующий мастер.
Вот он отбросил фломастер,
тоненькой кисточкой пишет.

Взял уже перышко в руку —
пишет предсмертную муку.
Самый последний штришочек.
Малую черточку только...

Так нас от первого крика
и до последнего вздоха
пишет по-своему время
(эра, столетье, эпоха).

Пишет в условной манере
и как писали когда-то.
Как на квадратной фанере
пишется скорбная дата.

Отсветы. Отблески. Блики.
Пятна белил и гуаши.

Наши безгрешные лики.
Лица греховные наши...

Вот человек среди поля
пал, и глаза опустели.
Умер в домашней постели.
Выбыл из вечного боя.

Он уже в поле не воин.
Двинуть рукою не волен.
Больше не скажет:
— Довольно! —
Всё. Ему больше не больно.

Воспоминанье об оранжевых абажурах

В этом городе шел снег,
и светились оранжевые абажуры,
в каждом окне
по оранжевому абажуру.
Я ходил по улицам
и заглядывал в окна.
В этот город я вернулся с войны,
у меня было все впереди,
не было лишь квартиры,
комнаты,
угла,
крова.
Снова и снова
ходил я по улицам
и заглядывал в окна.
Под оранжевыми абажурами
люди пили свой чай
с послевоенным пайковым хлебом.
Оранжевые абажуры были моей мечтой,
символом
всей несправедливости мира,
в котором,
как мне казалось,

лишь у меня одного
не было никакого пристанища,
комнаты,
угла,
кровы.

У меня было все впереди,
все впереди настолько,
что я не мог оценить размеров
своего богатства.

— Скажите, пожалуйста, —
спрашивал я, —

здесь не сдаётся угол? —

А в городе шел снег,
и светились оранжевые абажуры,
оранжевые тюльпаны
за тюлевой шторкой метели,
оранжевая кожура мандаринов
на новогоднем снегу.

«Музыка, свет неближний...»

Музыка, свет неближний,
дождь, на воде круги.
Музыка, третий лишний,
что же ты, ну, беги!

Выдохлась? Притомилась?
Хочешь не хочешь – пой?
Музыка, сделай милость,
очередь за тобой.

С каждой перебежкой —
дождь, на воде круги.
Музыка, ну, не мешкай,
музыка, ну, беги!

Не дожидаясь зова,
не выбирая дня,
круг обегу
и снова
встань впереди меня.

Да не сочтем за муку
этот,
из века в век,

по роковому кругу
замерзший бег.

Этот смиренный пафос
и молчаливый зов
перемещения пауз,
звуков и голосов.

Это чередование
флейты и бубенца.
Это очарование
дудочки и скворца.

Это —
сплетенье выюги
с песенкою дрозда.
Это —
синицей в руки
выпавшая звезда.

Это —
звезда и полночь,
дождь, на воде круги.
Этот призыв на помощь —
музыка, помощи!

Иронический человек

Мне нравится иронический человек.
И взгляд его, иронический, из-под век.
И черточка эта тоненькая у рта —
иронии отличительная черта.

Мне нравится иронический человек.
Он, в сущности, – героический человек.
Мне нравится иронический его взгляд
на вещи, которые вас, извините, злят.

И можно себе представить его в пенсне,
листающим послезавтрашний календарь.
И можно представить в его письме
какое-нибудь старинное – милсударь.

Но зря, если он представится вам шутком.
Ирония – она служит ему щитом.
И можно себе представить, как этот щит
шатается под ударами и трещит.

И все-таки,
сквозь трагический этот век
проходит он, иронический человек.
И можно себе представить его с мечом,

качающимся над слабым его плечом.

Но дело не в том – как меч у него остер,
а в том – как идет с улыбкою на костер,
и как перед этим он произносит:

– Да,

горячий денек – не правда ли, господа!

Когда же свеча последняя догорит,
а пламень небес едва еще лиловат,
смущенно – я умираю – он говорит,
как будто бы извиняется – виноват.

И можно себе представить смиренный лик,
и можно себе представить огромный рост,
но он уходит так же прост и велик,
как был за миг перед этим велик и прост.

И он уходит —

некого, мол, корить —

как будто ушел из комнаты покурить,

на улицу вышел воздухом подышать

и просит не затрудняться, не провожать.

«Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь...»

Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь.
Стрелки, цифры, циферблаты – сутки прочь.

Гири, маятники, цепи, медный гуд.
Все торопятся куда-то, все бегут.

На ходу махнуть рукою, крикнуть «будь!»,
Съесть сосиску на ходу и снова в путь.

Сдать багаж, и в самолет, и в облака.
– Как там наши? – как там ваши? – ну, пока!

Гири, цепи, шестеренки, медный звон.
Телеграмма – вместо писем – телефон,

телефонные кабины – о стекло
стук монеты – ваше время истекло!

Нету времени присесть, поговорить,
покалякать, покумекать, покурить.

Нету времени друг друга пожалеть,
от несчастья от чужого ошалеть.

Даже выслушать друг друга – на бегу —
нету времени – приедешь? – не могу!

На автобус, на троллейбус, в этот гон,
в эту гонку, в переполненный вагон,

то в обгон, а то вдогонку – на ходу —
в эту давку, суматоху, чехарду,

в автогонку, в мотогонку, в нету мест,
в не толкайтесь, переулками, в объезд,

и в затор у светофора – как в тупик...
Что за время? Наше время, время пик.

Только выхлопы бензина, дым и чад.
Только маятники медные стучат.

Только стрелки сумасшедшие бегут.
Стрелки, цифры, циферблаты, медный гуд.

Словно мир этот бессонный городской
стал огромной часовой мастерской,

часовую мастерскую, где со стен —
циферблаты всех фасонов и систем,

где безумные живут часовщики.

Спать ложишься – ходят стрелки у щеки.

Стрелки, цифры, циферблаты, медный зов.
Засыпаешь под тиктаканье часов.

И летишь под этим небом грозовым —
как на бомбе с механизмом часовым.

Как показать лето

Фонтан в пустынном сквере будет сух,
и будет виться тополиный пух,
а пыльный тополь будет неподвижен.
И будет на углу продажа вишен,
торговля квасом
и размен монет.
К полудню
на киоске «Пиво – воды»
появится табличка «Пива нет»,
и продавщица,
мучась от зевоты,
закроет дверь киоска на засов.
Тут стрелка электрических часов
покажет час,
и сразу полвторого,
и резко остановится на двух.
И все вокруг замрет,
оцепенеет,
и будет четок тополиный пух,
как снег на полотне монументальном.
И, как на фотоснимке моментальном,
недвижно будет женщина стоять,
и, тоненький мизинец оттопырив,
держат у самых губ стакан воды

с застывшими
недвижно
пузырьками.

И так же

за табачными ларьками
недвижна будет очередь к пивной.

Но тут ударит ливень проливной,
и улица мгновенно опустеет,
и женщина упрячется в подъезд,
где очень скоро ждать ей надоест,
и, босоножки от воды спасая,
она помчит по улице
босая,

и это будет главный эпизод,
где женщина бежит,

и босоножки
у ней в руках,

и лужи в пузырьках,
и вся она от ливня золотится.

Но так же резко ливень прекратится,

и побежит по улице толпа,
и тополя засветится вершина,
и в сквере заработает фонтан,
проедет поливальная машина,
в окно киоска будет солнце бить,
и пес из лужи будет воду пить.

Сон о забытой роли

Мне снится, что в некоем зале,
где я не бывал никогда,
играют какую-то пьесу.
И я приезжаю туда.

Я знаю, что скоро мой выход.
Я вверх по ступеням бегу.
Но как называется пьеса,
я вспомнить никак не могу.

Меж тем я решительно знаю
по прихоти сна моего,
что я в этой пьесе играю,
но только не помню – кого.

Меж тем я отчетливо помню —
я занят в одной из ролей.
Но я этой пьесы не знаю
и роли не помню своей.

Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.

Там, кажется, ловят кого-то.
И смута стоит на Руси.
И кто-то взывает:
– Марина,
помилуй меня и спаси!

И кажется, он самозванец.
И кто-то торопит коней.
Но я этой пьесы не знаю.
Я даже не слышал о ней.

Не знаю, не слышал, не помню.
В глаза никогда не видал.
Ну разве что в детстве когда-то
подобное что-то читал.

Ну разве что в давние годы,
когда еще школьником был,
учил я подобное что-то,
да вскоре, видать, позабыл.

И должен я выйти на сцену
и весь этот хаос облечь
в поступки, движенья и жесты,
в прямую и ясную речь.

Я должен на миг озариться
и сразу,

шагнув за черту,
какую-то длинную фразу
легко подхватить на лету.

И сон мой все время на грани,
на крайнем отрезке пути,
где дальше идти невозможно,
и все-таки надо идти.

Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.

Я все еще медлю и медлю.
Но круглый
оранжевый свет
ко мне подступает вплотную,
и мне уже выхода нет.

«Собирались наскоро...»

Собирались наскоро,
обнимались ласково,
пели, балагурили,
пили и курили.
День прошел – как не было.
Не поговорили.

Виделись, не виделись,
ни за что обиделись,
помирились, встретились,
шуму натворили.
Год прошел – как не было.
Не поговорили.

Так и жили – наскоро,
и дружили наскоро,
не жалея тратили,
не скупясь дарили.
Жизнь прошла – как не было.
Не поговорили.

«Горящими листьями пахнет в саду...»

Горящими листьями пахнет в саду.

Прощайте,
я больше сюда не приду.
Дымится бумага,
чернеют листья.
Сжигаю мосты.

Чернеют листья,
тяжелеет рука.
Бикфордовым шнуром
дымится строка.
Последние листья,
деревья пусты.
Сжигаю мосты.

Прощайте,
прощальный свершаю обряд.
Осенние листья,
как порох,
горят.
И капли на стеклах,
как слезы,
чисты.

Сжигаю мосты.

Я больше уже не приду в этот сад.

Иду,

чтоб уже не вернуться назад.

До ранней,

зеленой,

последней звезды

сжигаю мосты.

Время улетающих птиц

Фрагменты сценария

Южный город. Море и песок.
Берег пляжей. Выжженная зона.
Остаются считанные дни
до конца курортного сезона.
Человек,
распятый на песке.
Он сейчас похож на Робинзона.
Человек,
лежащий у воды,
не спеша песок ладонью роет,
на песке
песочный домик строит,
крепость воздвигает на песке.
В это время женщина приходит,
по песку ступая, как по морю.
Женщина с мужчиной на песке,
но мы видим —
женщина уходит,
по песку ступая, как по морю.
Женщина с мужчиной на песке,
но уходит женщина,
уходит.
Час проходит

или день проходит —
женщина с мужчиной на песке,
и все дальше женщина уходит.
Человек чего-то еще ждет.
Он еще надеется на что-то.
Но едва он открывает рот,
слышен трубный голос парохода,
голос проходящих поездов,
гул вокзала
и аэродрома,
цирка,
стадиона,
ипподрома
и еще каких-то людных сборищ
слившиеся в грохот голоса.
И уходит,
медленно уходит
вдаль береговая полоса,
и мы видим сверху —
с самолета,
с вертолета,
с птичьего полета —
по бескрайней выжженной пустыне
маленькая женщина идет.
И тогда возникнет панорама
множества экранов,
циркорама —
на ступенях рухнувшего храма
маленькая женщина стоит

у подножья каменного Будды,
и мы видим —
каменного Будды
каменные жесткие глаза,
а потом отдельно —
южный город,
берег пляжей,
море и песок
и отдельно —
хроники старинной
некий завершающий кусок,
и как смесь пролога с эпилогом
будут в заключительном куске
очертанья рухнувшей Помпеи,
след полузабытой эпопеи,
домик, возведенный на песке.

«Я медленно учился жить...»

Я медленно учился жить.
Ученье трудно мне давалось.
К тому же часто удавалось
урок на после отложить.

Полжизни я учился жить,
и мне за леность доставалось, —
но ведь полжизни оставалось,
я полагал —
куда спешить!

Я невнимателен бывал —
то забывал семь раз отмерить,
то забывал слезам не верить,
урок мне данный забывал.

И все же я учился жить.
Отличник – нет, не получился.
Зато терпению научился,
уменью жить и не тужить.

Я поздно научился жить.
С былою ленью разлучился.
Да правда ли,

что научился,
как надо научился жить?

И сам плечами лишь пожмешь,
когда с утра забудешь снова
не выкинуть из песни слова,
и что посеешь, то пожнешь.

И снова, снова к тем азам,
в бумагу с головой заройся.
– Сезам, – я говорю, – откройся!..
Не отворяется Сезам.

Квадратный человек

Как полуночный вздор,
как на голову снег —
мой грозный командор,
мой черный человек —
как поздний вестовой
по гулкой мостовой —
квадратный человек
с квадратной головой.

Квадратное лицо.

Квадратные очки.

Квадратные глаза.

Квадратные зрачки.

И челюсти во рту
гремят, как жернова,
когда он говорит
квадратные слова.

Квадратный человек,
сам черт ему не брат.

В саду его растет
квадратный виноград.

И явственно видна,
пока он говорит,
квадратная луна
в глазах его горит.

О, этот человек,
он выпрямить готов
округлости полей,
округлости прудов
и возвести в квадрат —
и возвести стократ —
квадрат своих затрат,
квадрат своих оград.
Квадратный человек,
мой грозный командор,
мой прошлогодний снег,
мой полуночный вздор,
нелепое звено
из рода небылиц, —
и все-таки одно
из действующих лиц.
И по спине сквозит
нездешним холодком,
когда он мне грозит
квадратным кулаком.

Как показать осень

Еще не осень – так, едва-едва.
Ни опыта еще, ни мастерства.
Она еще разучивает гаммы.
Не вставлены еще вторые рамы,
и тополя бульвара за окном
еще монументальны, как скульптура.
Еще упруга их мускулатура,
но день-другой —
и все пойдет на спад,
проявится осенняя натура,
и, предваряя близкий листопад,
листва зашелестит, как партитура,
и дождь забарабанит невпопад
по клавишам,
и вся клавиатура
пойдет плясать под музыку дождя.
Но стихнет,
и немного погода,
наклонностей опасных не скрывая,
бегом-бегом
по линии трамвая
помчится лист опавший,
отрывая
тройное сальто,

словно акробат.
И надпись «Осторожно, листопад!»,
неясную тревогу вызывая,
раскачиваться будет,
как набат,
внезапно загудевший на пожаре.
И тут мы впрямь увидим на бульваре
столбы огня.
Там будут листья жечь.
А листья будут падать,
будут падать,
и ровный звук,
таящийся в листве,
напомнит о прямом своем родстве
с известною шопеновской сонатой¹.
И тем не мене,
листья будут жечь.
Но дождик уже реже будет течь,
и листья будут медленней кружиться,
пока бульвар и вовсе обнажится,
и мы за ним увидим в глубине
фонарь
у театрального подъезда
на противоположной стороне,
и белый лист афиши на стене,
и профиль музыканта на афише.

¹ Речь идет о Сонате для фортепиано № 2 Фредерика Шопена, третьей частью которой является известный Траурный марш. Он впервые был исполнен на похоронах автора в октябре 1849 года. (Здесь и далее примеч. сост.)

И мы особо выделим слова,
где речь идет о нынешнем концерте
фортепианной музыки,
и в центре
стоит – «ШОПЕН, СОНАТА № 2».
И словно бы сквозь сон,
едва-едва
коснутся нас начальные аккорды
шопеновского траурного марша
и станут отдаляться,
повторяясь
вдали,
как позывные декабря.
И матовая лампа фонаря
затеплится свечением несмелым
и высветит афишу на стене.
Но тут уже повалит белым-белым,
повалит густо-густо
белым-белым,
но это уже – в полной тишине.

Сон о рояле

Я видел сон – как бы оканчивал
из ночи в утро перелет.
Мой легкий сон крылом покачивал,
как реактивный самолет.

Он путал карты, перемешивал,
но, их мешая вразнобой,
реальности не перевешивал,
а дополнял ее собой.

В конце концов, с чертами вымысла
смешав реальности черты,
передо мной внезапно выросло
мерцанье этой черноты.

Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкой обугленной
мерцал рояль передо мной.

Рояль был старый, фирмы Беккера,
и клавишей его гряда
казалась тонкой кромкой берега,
а дальше – черная вода.

А берег был забытым кладбищем,
как бы окраиной его,
и там была под каждым клавишем
могила звука одного.

Они давно уже не помнили,
что были плотью и душой
какой-то праздничной симфонии,
какой-то музыки большой.

Они лежали здесь, покойники,
отвоевавшие свое,
ее солдаты и полковники,
и даже маршалы ее.

И лишь иной, сожженный заживо,
еще с трудом припоминал
ее последнее адажио,
ее трагический финал...

Но вот,
едва лишь тризну справивший,
еще не веря в свой закат,
опять рукой коснулся клавишей
ее безумный музыкант.

И поддаваясь искушению,
они построились в полки,

опять послушные движению
его играющей руки.

Забыв, что были уже трупами,
под сенью нотного листа
они за флейтами и трубами
привычно заняли места.

Была безоблачной прелюдия.
Сперва трубы гремела медь.
Потом пошли греметь орудия,
пошли орудия греметь.

Потом пошли шеренги ротные,
шеренги плотные взводов,
линейки взламывая нотные,
как проволоку в пять рядов.

Потом прорыв они расширили,
и пел торжественно металл.
Но кое-где уже фальшивили,
и кто-то в такт не попадал.

Уже все чаще они падали.
Уже на всю вторую часть
распространился запах падали,
из первой части просочась.

И сладко пахло шерстью жженою,

когда, тревогой охватив,
сквозь часть последнюю, мажорную,
пошел трагический мотив.

Мотив предчувствия, предвестия
того, что двигалось сюда,
как тема смерти и возмездия
и тема Страшного суда.

Кончалась музыка и корчилась,
в конце едва уже звеня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.